**Андерграунд вечен – как вечны новации и поиск**

Николай Байтов

К литературному андерграунду я отношу тех авторов, творчество которых по тем или иным причинам проходит мимо читающей публики.

...По каким же причинам? – специальная информационная изоляция публики? или её спокойное невежество? её внушаемость вкупе с предубеждённостью? её направленная образованность?... – Об этом, быть может, стоило бы поговорить, если бы сразу не возникала серия вопросов следующего по глубине уровня. – Ведь не очень ясно и что такое «читающая публика». Весьма туманно и содержание, которое мы вкладываем в выражение «массовый читатель». Не понятно до конца, чем «массовый» отличается от «просто» читателя, и кто такой этот «просто». Получается, что я расплывчатое понятие «андерграунда» пытаюсь определить через не менее расплывчатое понятие «читателя»... И всё же я дерзну – интуитивно, поверх логики. А «читателя» отложим до следующей журнальной дискуссии.

Начнём вот с чего. – Представляется, что «читающая публика» – область до сих пор довольно аморфная, и её можно при желании формировать, можно манипулировать её сознанием и вкусами. Это было понято ещё литературными стратегами прошлого века. Белинский, воспитывая своего «прогрессивного» читателя, вытеснил в андерграунд «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя. У нескольких поколений русской интеллигенции эта вещь (понаслышке) вызывала такую брезгливость, что они к ней даже не притрагивались. Последовавшие за Белинским «властители дум» попытались вытеснить в андерграунд Фета, Лескова и других многих... даже Пушкина. По счастью, в ХIХ веке общественное сознание ещё не было (и не могло быть) организовано достаточно жёстко для того, чтобы андерграунд принял отчётливую форму. Тем не менее что-то основное, глубинное было понято и сделано уже тогда. И Белинский, и Чернышевский догадались, что идеологические акценты нужно поместить в эстетику: нужно воспитать определённый, идеологически нагруженный вкус. Идеи, врощенные во вкусовые предпочтения, живут дольше, ибо вкусы человека – более постоянная его характеристика. Идеи сравнительно легко сменяют друг друга, вкусы – более инерционны. Об идеях спорят, о вкусах – нет. Идеи друг друга отрицают, вкусы – накапливаются и суммируются. Новая идея вычёркивает старую и занимает её место. Новая эстетическая ценность не может старую уничтожить. Поэтому в душе человека место ей находится с трудом, с мучением, с борьбой: душа должна расшириться, да и старая любовь должна потесниться. Массовый читатель (ещё если он соответствующим образом воспитан), вряд ли способен на такие действия...

Но кроме отягощённого идеологией вкуса, в ХIХ веке было создано ещё нечто более важное. – Литература была облечена в торжественную тогу, и на её лице застыло выражение непроходимой, глубокомысленнейшей серьёзности... Как странно, что в Англии в это время Эдвард Лир и Льюис Кэрролл стали классиками, можно сказать, при жизни. А у нас и через пятьдесят лет футуристы, а вслед за ними и обериуты в сознании читающей публики находились где-то сбоку от «настоящей» литературы. Символисты и акмеисты – это пожалуйста: это хорошо, потому что «серьёзно», – они отвечают читательским представлениям о том, какой должна быть литература... а остальные – кто? – Василиск Гнедов? – глупости! шарлатанство! мальчишество! – И вот отсюда ещё один, и может быть важнейший, исток андерграунда. – О Хлебникове принято говорить с уважением, но столь же прочно принято его не читать и a part называть графоманом. И, кажется, до сих пор его поэзия никем по-настоящему не исследована...

Когда в советское время курирование литературы сделалось государственной и партийной задачей, на эстетику можно было не обращать большого внимания. Сами кураторы были людьми с мощнейшей инерцией вкусов, воспитанных в ХIХ веке, и эстетические предпочтения в них действовали почти на уровне подсознания. Иногда они искренне думали, что это просто «классовое чутьё». Соответственно они стали более формально оперировать с авторами на идеологическом уровне, клеить на них политические ярлыки. В 30-е годы андерграунд впервые выявился отчётливо: литераторы были резко поделены на допущенных к читателю и не допущенных. Это разделение было, наверное, весьма глубоким и эстетически значимым, однако представлялось поверхностным: читатель мог думать, что такие-то авторы не допущены до него вследствие их политической неблагонадёжности, идейной оппозиции. На фоне идеологии терялись эстетические различия между Платоновым, Добычиным, Хармсом, Кржижановским... Казалось, их вытеснили в андерграунд не индивидуально, а скопом, наподобие раскулаченных крестьян...

Нет, это не так. Я убеждён, что андерграунд не является чем-то единым и никогда не являлся: он всегда был разбит на небольшие группы людей, близких друг к другу по своим вкусам. Вряд ли Платонову было бы легко и интересно общаться с Добычиным, а Хармсу – с Кржижановским. Говорить и мыслить об андерграунде в целом позволило лишь спекулятивное оперирование идеологическими оценками, к которому прибегали кураторы. Эта картина была, впрочем, заразительна (ибо проста, понятна), – настолько, что многие разнородные литераторы андерграунда действительно, реально почувствовали своё единство. Можно сказать, что они в некотором смысле сплотились. Думается, это чувство (иллюзия, конечно!) возникло после Хрущёва и развивалось в течение десятилетия – до середины 70-х годов примерно. Тогда же явилось понятие «самиздат», которое, мне кажется, существенно пересекается с андерграундом. И вот здесь-то можно было бы ввести важный, смыслообразующий термин – «читатель андерграунда» (в отличии от «читающей публики»). Но «самиздат», безусловно, требует отдельного обсуждения, – и на многих страницах...

Это было время, когда активно действовал Солженицын во главе массы диссидентов, и вообще политическое диссидентство было хорошим тоном. (Моя юность прошла под этим знаком. Во 2-й школе моим учителем литературы и истории был Анатолий Якобсон; в параллельном классе учился сын сидящего Даниэля...) Это представление об единстве андерграунда живо по инерции до сих пор, но в основном, кажется, в литераторах старшего поколения. Ким, например, так, может быть, и не осознал, насколько он эстетически иной, чем Галич. (Между тем, их различие чрезвычайно существенно: оно проходит на уровне поэтического проекта: у Галича реалистический проект в лучших, «совестливых» традициях ХIХ века, у Кима же проект постмодернистский, причём крайний, дальше которого, мне кажется, не шли никакие авангардисты, концептуалисты и эпатажники. Это интересно наблюдать ещё в том соображении, что оба – и Ким, и Галич – исходят из театрализации текста.)

Важно понять, что андерграунд вообще – понятие бессодержательное по отношению к собственно-литературе. Принадлежность к андерграунду может что-то сказать нам о социальном статусе литератора, или о его человеческом характере, энергетике... возможно, о нравственном облике, – но ничего не скажет о его «творческой жизни»: о его вкусах, критериях качества, о степени его таланта, и о предметах, к которым он свой талант прилагает. Зато принадлежность автора к конкретной группе – Лианозовской, допустим, или к «СМОГу», к «Московскому времени» и т.п. – уже кое-что (пусть не так много) даёт нам понять и в эстетическом плане, во всяком случае, мы уже представляем себе какое-то «выражение лица»...

С мыслью о разнородности андерграунда я впервые столкнулся в середине 70-х годов. Но эта мысль произошла во мне не от внешних причин, а как-то изнутри. Когда после школы я принялся производить свои пробы пера, я был полный профан в эстетиках, зато в политике всё знал и делал зрячий и ответственный выбор. Конечно, я был с диссидентами – какие могли быть вопросы! И лишь постепенно – лет через пять – вопрос начал образовываться во мне. – «Я холоден. Защита прав человека мне скучна. Я занят другими проблемами. Какими – я сам не понимаю. Я двигаюсь ощупью. Куда?... Куда бы я ни двигался, я всё равно буду принадлежать андерграунду... Да, я неблагонадёжен для режима, но не это главное, а то, что я пишу не так, как принято, как читатель привык, как его приучили. Вот почему меня никогда не напечатают, даже и стараться не стоит. Ясно, что кроме унижений ничего не выйдет... Да, я буду принадлежать к андерграунду, но не в том смысле, как Солженицын, а как, например... Владимир Казаков...» – О, я никогда не прощу советской власти вот чего: политизировав искусство, она надругалась над его тонкой организацией, сломала и выровняла всё богатство его нюансов, способов цветения; создав во мне эйфорию – или скажем сдержанней: пиетет – по отношению к диссидентству, она лишила меня эстетических ориентировок, лишила меня общения с моими великими современниками – Владимиром Казаковым... Всеволодом Некрасовым... Игорем Холиным...

О Казакове я узнал лишь в 1995 году, когда был напечатан его трёхтомник, давно после его смерти. С Некрасовым, по счастью, я познакомился в начале 80-х. Уже тогда я имел опыт прохождения через малые кружки андерграунда – весьма различные по объединяющим их вкусам. Я был в кружке традиционно-пастернаковско-тарковской поэзии у Лиды Мурановой, которая заведовала студией звукозаписи при Литературном музее. Помню, как там читала свои поэмы Марина Кудимова, только что приехавшая из Тамбова, и её слушали со священным трепетом, затаив дыхание; называли, перешёптываясь, «достойной цветаевской преемницей». А когда тут же затесавшийся молодой и никому (там) не известный Пригов прочёл одно стихотворение про Иуду – и музыкально, наподобие вьетнамцев, тонировал звук Ю в его имени, – все поджали губы и промямлили что-то скептическое.

Но в наибольшей мере мой кругозор был расширен знаменитым в 80-х годах салоном, который собирала Наташа Осипова в своей квартире. Мой друг Александр Бараш посвятил этим сборищам несколько строк в поэме «Эпикриз»:

На Пушкинской один салон открылся –

там где атланты еле держат крышу

сооружения эпохи репрессанс

Там собиралися чердачные поэты

читать свои подпольные поэмы

и громко ржал по вечерам Пегас

Там были девочки пригодные для рая

и молодые бородатые евреи

и коммунальные мегеры за стеною

обмыли кости всем и джинсы простирнули

Бывали мэтры-концептуалисты:

порой Некрасов чаще Рубинштейн

и редко Пригов (чопорный речистый

и в связях осмотрительный шатен)

У них был свой салон – солиднее и чище

где их портреты уже щурились со стен

Пригову я сказал (впервые у Наташи Осиповой прослушав его длинную программу) – я сказал с удивлением и слегка разочарованно: «Но ведь это – простая антисоветчина, лишь немного закамуфлированная юродством. Так или нет?» (То есть я имел в виду: «А где же новая эстетика? Она – блеф? симуляция?...») Он сделал в ответ молчаливую как бы ужимку: «Конечно, мол, вы правы. Но не будем об этом вслух говорить». У меня осталось впечатление, что он нечто утаил от меня как от профана. Но впоследствии, когда изменились идеологические установки и такие авторы как Пригов и Кибиров вышли из андерграунда на телевидение и в большие тиражи, я понял, что, пожалуй, был прав в первом схватывании: их андерграунд был поверхностным, т. е. не эстетическим, не радикальным.

В демократической обстановке истэблишмент возникает и поддерживается во многом снизу: те авторы, которые могут быть приняты читателем и раскуплены в больших тиражах (пусть даже при условии их предварительной рекламной «раскрутки») – те и выходят в новый истэблишмент, который по очертаниям своего смысла, наверное, теперь совпадает (или скоро совпадёт) с понятием «мода». Но ошибкой было бы думать, будто «раскрутить» можно кого угодно (при наличии достаточных связей и денег): есть такие, которых массовый читатель не примет и не поймёт никогда, как бы его ни убеждали и не заманивали. И, между прочим, сейчас это не только «экспериментаторы», но и, например, почти вся поэзия, и традиционная-то в первую очередь. Один такой литературный кружок я иногда посещаю. Я их про себя называю «серьёзниками». Они полагают, что новый истэблишмент весь составился из авангарда и ёрничества, которые всюду захватили власть и правят бал. Себя же рассматривают они как новый андерграунд: лишь они хранят теперь подземную, чистую струю подлинной литературы. Они наивны, но чем-то меня трогают... – своей торжественностью, «священным огнём служения», «праведным гневом», «болью за судьбу великой литературы». Они чётко опознают тех, кто по ту сторону границы, но совершенно не видят другие, рядом лежащие точки андерграунда. – Да, большая публика будет проглатывать Кибирова, Виктора Ерофеева, Лимонова, Пелевина так же, или почти так же, как она поглощает Доценко и Маринину. В недалёком будущем, возможно, публика почувствует вкус и к Пригову, и к Сорокину... Вкус к Рубинштейну? – уже проблематично. Зато мне совершенно ясно, что никогда массовый читатель не заинтересуется, например, Всеволодом Некрасовым, Михаилом Сухотиным, Светой Литвак, Сергеем Бирюковым, Ры Никоновой – и многими другими, именно теми, с кем я продолжаю немой напряжённый диалог всякий раз как сам берусь что-то прикинуть на бумаге.

На этом можно было бы благополучно закончить, если поставить себе целью умолчать кое о чём более важном ( – отвернуться от него, нарочно постараться не заметить)... Но моя цель иная: я бы лучше всё предыдущее зачеркнул, а оставил бы только вот что. –

До сих пор речь шла об андерграунде, так сказать, сиюминутном и преходящем. Но ведь есть же андерграунд вечный, в который рано или поздно попадают все: это смерть, земля, могила, забвение. – Смерть всех равняет: богатого с нищим, умного с дураком, учёного с невеждой, гения с бездарностью. И вот нынешняя читающая публика равным образом не читает и не желает знать ни всемирно-модного когда-то Максима Горького, ни его современника, тихого и утонченного маргинала Константина Вагинова... Но, с другой стороны, ведь известно, что «у Бога нет мертвецов». Так и в архиве человеческой культуры – все живы, все присутствуют, каждому отводится клеточка, наподобие ячейки в колумбарии. Зависит ли величина этой клеточки от того, насколько литератор был известен и признан при жизни? Это вопрос сложный. Первоначально, конечно, зависит, но потом... В архиве часто происходят ревизии, которые иногда радикально изменяют способ ранжирования ценностей... Хотя эти ревизии в меньшей степени затрагивают ценности более удалённые по времени... Так что угадать трудно. Единственное, что можно здесь заметить, это что раньше архивирование было не очень надёжным и зависело от многих случайностей, перед которыми «андерграунд», разумеется, был более уязвим, чем «истэблишмент». Например, группа поэтов, включавшая Катулла (группа, несомненно, «андерграундовая» для своего времени) исчезла вся и почти бесследно. Один Катулл сохранился благодаря случайности в единственном экземпляре, – а ведь он, по-видимому, не был даже лидером этой группы...

В Новое время надёжность архивирования возросла во много раз. Кроме того, сейчас, благодаря компьютерным технологиям, колоссально расширился ресурс памяти, – и можно, пожалуй, архивировать всё подряд без особого отбора. Ещё компьютер облегчает и доступ к информации, а потому отпадает необходимость единого ранжирования ценностей: вместо него появляется множество виртуальных ценностных иерархий (что, кстати, соответствует разрозненным эстетическим кружкам, то есть сплошному андерграунду). Лет через двадцать-тридцать, быть может, никакого приоритета ни у кого в архиве не будет, – все получат одинаковые, стандартные ячейки...

Поэтому мы, сегодняшние маргиналы и графоманы, с надеждой смотрим в потустороннее завтра: нас примет в объятия вечная память, которая сотрёт знаки различия между маршалами, солдатами и дезертирами.